



*мария голованивская*  
нора баржес

Мария Голованивская

**Нора Баржес**

«Автор»

2009

## **Голованивская М. К.**

Нора Баржес / М. К. Голованивская — «Автор», 2009

«Нора Баржес» рассказывает о семейной драме, происходящей в среде московской интеллектуальной элиты. Чтобы насолить своему недалекому мужу, бизнесмену от науки, героиня заводит интрижку с провинциальной девушкой, приехавшей покорять столицу. Трагический финал все расставляет по местам. «Нора Баржес» – это философский роман о простом и сложном, мужчинах и женщинах, евреях и славянах, охотниках и жертвах, искушении и выборе.

© Голованивская М. К., 2009

© Автор, 2009

## Мария Голованивская

### Нора Баржес

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

Ты меня больше не возбуждаешь.

Врешь.

Она встала, провела рукой по своим каштановым коротко стриженным волосам (под мальчика, опять подумал он), подошла к окну, закурила.

Ты опять куришь?

Я не понимаю, почему тебя это вообще так волнует. Меня, например, не волнует, что мне не о чем с тобой говорить.

Он почувствовал холод. Она – теплую волну, которую всегда вызывало в ней собственное раздражение.

Мы опаздываем, – бросил он.

Да, мы опаздываем, я вижу. Сейчас закончу с чемоданами, – бросила она.

Оба броска никуда не попали.

Он приготовился ждать и не нервничать.

Она – собираться, забывать, доходить до иступления и изнеможения. Вспоминать, расстегивать, возвращаться. Плакать от бессилия, глубоко затягиваясь.

Через четыре часа – самолет в Другой Город. Так у них принято – лететь в Другой Город раз в году на новогодние распродажи. На неделю вокруг нового года. Она обожала. Он терпел. Как бы из экономии. Так ему было легче ездить в эти ледяные путешествия. Точнее, в строгие. Точнее, на обычные между ними соревнования в равнодушии. По ее невысказанной мысли – шифрующие глубину отношений, надлежащее воспитание чувств, отношение подлинное, а не показное.

Он, конечно, посчитал. Как всегда, очень дорого. Этот город такой же дорогой, как и она, такой же промозгло-холодный, однообразный, формализованный. Но он любил Другой Город. Как и ее. Точнее, особенно уважал. По-одесски, с акцентом, с особенным причкомом, выражающим восхищение. Уважал до комплексов, как и положено качественному самцу, проложившему свою тропу в этих джунглях из человеческого мусора, обломков пирамид и мавзолеев, с начертанными на их шершавых стенах законами, понятиями и правилами.

Другой Город лечит.

Ветер продувает мысли, скудость и однообразие возбуждают чувства, включают воображение. А изысканность и аристократизм щекочат нервы. Таким он был, этот Другой Город.

Именно в Другом Городе она отдавалась ему лучше всего. Когда примеряла новые кожи и крутилась перед зеркалом. Он брал ее одним махом в коридоре их крошечной квартирки на одной из центральных улиц, где разгуливало много соотечественников-толстосумов с характерным пренебрежительным выражением на лице. Прямо перед зеркалом, она позволяла ему,

это был их ритуал – еще раз и еще – до самого отъезда, но в остальное время они ходили по улицам, как немые тени друг друга, она курила, он, как петух, вертел головой.

Обсуждали за завтраком, как и положено в начале декабря, не глядя друг другу в глаза.  
Может быть, куда-нибудь еще?  
Не стоит, – вяло не согласилась она. Поздно осваивать новые маршруты.  
Одежду покупаешь сама, – внезапно выкрикнул он.  
Именно, – как бы продолжив его фразу, согласилась она.

Почему – одежду сама? Почему так легко согласилась? Не хотела лишних разговоров?  
Спокойно, певуче, нежно, с легким румянцем, как всегда, когда выплескивала яд ему в лицо.

Свои вещи собирай сам.  
Докурила. Не глядя на него, с мобильным телефоном в руке прошмыгнула в ванную.  
Он кричит посреди комнаты, хрипло, будто с пулей в животе.  
Гадина, кричит он, сволочь, сволочь, – так внезапно среди породистого просторного разговора, точнее, мыслей о прелестях Другого Города. С кем ты крутишь, кому ты строчишь эти писульки, рыжей шлюшке, девке копеечной?  
Как в театре.  
Он подумал.  
Она подумала.  
Почти Шекспир.  
А она похожа на Пеппе Длинный Чулок, правда, милый?

Ее конек. Так беззаботно и красиво парировать патетический вопль, этим всегда возбуждала, он соврал, конечно, возбуждает, от этого и глупая обида, и бешенство, и беспомощность перед невозможностью, неуместностью ревновать. Убьет ее, решил точно, в этот раз точно, не так, как тысячу раз уже решал. Угробит, удавит, вытрет ноги и этим сотрет в порошок.

Самолет поблескивает крыльями, легкий, как облако, воздушный корабль с элегантными полосками на боках.

Просим пассажиров срочно пройти на посадку к выходу номер шесть.

Молча весь путь в аэропорт, паспортный контроль, его одесские шуточки, улыбочки май-орш, шерстящих паспорта, ее мука от запрета на курение. Он видит.

Вспоминая, как когда-то уговорил ее пойти с ним в мужской туалет, и пока она жадно курила, целовал ее как хотел. Перед вылетом к какому-то морю, на их заре.

Она смотрит в сторону. Останавливается около киоска с косметикой, долго выбирает дрянь.

Заплатишь?

В обмен на твой телефон.

Мой телефон? Глупец...

Поворачивается красивым профилем. Зажимает зубами фильтр тонкой сигареты. Хочешь мой телефон? Рыться в памяти? Читать чужие письма? Изволь... Десять тысяч!

Видит, как она падает от удара, как течет кровь из раскромсанной брови. Такое видение часто, последнее время часто накатывает на него, когда он сам разбивается вдребезги об

ее невозмутимость или отчетливую холодную провокацию. Он вдребезги и она вдребезги... Сладко ноет спина.

Он видит, как она падает навзничь, такая же тонкая, как и ее суждения, кто-то бросается ей на помощь, люди, военные... Он добил бы ее ногой и пошел бы прочь прямо на взлетное поле к звездам и облакам.

Сама возможность выложить столько унижительных денег за телефон уязвившей его жены – для алиби многих бессмысленных, но таких успешных начинаний последних лет.

Зачем живешь, небо коптишь? Чтобы держать ее рядом. На цепи дрессировщика. Он и она – законченная причинно-следственная цепь. Других объяснений не надо. Ясно, как день.

Поединок мужчины и женщины – достойное занятие для людей с фантазией, – любила повторять его мама Роза за приготовлением фаршмака по рецепту соседской еврейки. – Только у мужчины должны быть и другие фантазии.

У него, Павла Баржеса, сына Розы, была фантазия. Не то выкрал бы телефон ночью из сумочки, в которую она так заботливо всякий раз упрячивает его, сослепу кладя на самое видное место. Но его гонор, его вызов, его гормон – вечный вызов этой фитюлке – заплатить, непристойно плеснуть ей в лицо жидкими деньгами, словно мужским ядом, от которого родятся дети.

Она, конечно, считала его самого дешевкой. Всегда. И трудилась над ним прилежно, без показухи, приучая к одежде, еде, словам. Такая в ней работала программа – без сбоев и обычных программных причуд. Терпеливо, день за днем. Надень, сними, вымой, не говори, делай тише, убери, дай себе труд.

Но в глубине души она знала – этот одессит, неудавшийся гений, для нее, еврейской аристократки, никогда не станет второй половиной, в которуюходишь со щелчком замочка, попадая в собственный паз. Ни округлостей, ни впадин, ни запаха, не то строение, все не то, кроме отчаянной смелости быть все время не тем, некстати, глуповатым, но мужественно присутствующим.

Она страдала от него. Как страдала от московской зимы, русского хамства и невежества, новостей по телевизору, болтливости подруг, детской нечистоплотности дочери, плохих шуток...

Он сидит, уставившись в иллюминатор. Она ужинает: сок, минеральная вода, красное вино. Читает газеты, принесенные бортпроводницей.

Он сидит, уставившись в иллюминатор. Вскрыть и прочитать ее телефон нельзя, он выключен. Чтобы не мешать самолету ориентироваться в облаках.

Он придумал, как вернуть деньги, уплаченные за телефон. Сам себе напишет в отчете, что потратил их на бессовестный подарок столичному казнокраду, без пугливой закорючки которого не могло бы случиться чудо последнего золотиносного контракта. Кто проверит? Кто сочтет? Лучше он сам себя обманет, деловладелец Павел Баржес, чем даст жене своей бесстыжей надсмеяться над ним. Ишь, удумала, десять тысяч!

Но она невозмутима.

Когда-то за этот поворот головы, за этот профиль, за эту невозмутимость он был готов стать любым.

По заказу. Как пучок морковки или сельдерея в руках искусственного повара.

Он *так* ей, конечно, не признавался. А признавался нехотя, с оговорками и прибаутками.

Что-то мямлил, пересыпая неуклюжие словечки полугрубостями, что говорят пацаны, когда предлагают женщине стать подругой. Когда грезят всегда иметь женщину под рукой, доступную, податливую, готовую прислужить и простить.

Но и обороняющуюся, грозящую уходом, чтобы остаться не съеденной, всегда горьковатой на вкус.

Впрочем.

Это она всегда так говорила: впрочем. И ставила точку.

Впрочем, он и вправду обезумел от ее темно-каштановых волос, смуглой, словно вечно загорелой кожи, темных бордово-коричневых губ, темных маленьких сосков, худенького вытянутого тела с мальчишескими узкими бедрами.

От тяжелого запаха духов.

От черных дорогих нарядов, которые идут.

От великоватых колец на тонких пальцах и брильянтового свечения, исходящего от них.

От привычки часами делать маникюр, болеть зимой бронхитом, курить мужские сигареты даже по ночам, глубоко затягиваться после близости.

Он когда-то был физиком. Потел переносицей от головокружительных идей, от дышащей в лицо бесконечности мира и простирающегося сквозь нее облика вселенной.

Он ходил в лабораторию в Москве, Дубне, Лиссабоне, Гаване. Был и слыл красавчиком, отчего светочи не доверяли его таланту, точнее, глубине таланта, точнее, искренности намерения истлеть в лаборатории ради достижений, в которых не разбираются красивые женщины.

Где-то однажды он познакомился с рыжеволосым пареньком, веснушчатым. Два чуть искривленных клычка по обе стороны рта делали его улыбку милой и полудетской. Это был Майкл. Он родился в Германии. Учился в Австралии. Работал в Америке. Сам не подозревая, он не жил, а путешествовал. Если считать, что это разные вещи. Они много разговаривали вечерами на ломанном английском, а потом он, продолжая маршрут, приезжал в Москву с женой, и Баржес, сминая в кулаке зевоту, честно восхищался его крошечными детьми на фото.

Майкл работал в отделе новых идей большой корпорации, производившей на свет все на свете для всего на свете. Утюги и подшипники в том числе, проигрыватели и смазку для подмышек в том числе, чтобы те не скрипели, если их посыпать тальком конкурентов. Наслушавшись сказок про порошки и смазки Павел, тогда еще Пашка Баржес, стал делать для Майкла свою первую разработку, притащив добытую в скучной и долгой как ноябрьская ночь беседе сочную и мясистую задачку загадочным лабораторным поделникам, волчатам, побиравшимся по сырым дворам в поисках научных объедков.

Это были технари в пропотелых майках, со щеками, изрытыми шрамами от прыщей.

Они купили тогда каждый по подержанному автомобилю с правым рулем. Принесли подругам в жалкие клетушки первые из черной замши роскошные сапоги до колена и нечто в елочку и ромб. Многие подруги в ту пору забеременели, так и не поняв, отчего свалилось на голову такое неопишемое изобилие.

Баржесовцы изобретали фильтры для кофемолок, чтобы те могли безболезненно выплевывать жмых, презервативы для ножей, предохраняющие их остроту, устрашители комков для «мгновенной» каши, годящиеся также и для «стремительного» супа.

Это были инновации. Они росли как трава в их унавоженных головах, наполняя карманы монетным звоном.

Он вышел из лаборатории и обосновался в особнячке с коваными балконными решетками и окнами на старинную улочку. Он пересел со старой машины на новую и переспал с секретаршей. Он придумал для себя и сильно поредевшей группы бывших лаборантов стройное английское название, включающее аббревиатуру со словом limited.

Они на пару с Майклом любили девочек в русских и финских банях – невзирая на его жену и фото детишек – любили по-разному и долго, вдохновляясь дополнительно ромом с колой или мохито с пивом, чтобы научиться доверять друг другу и иметь общую тайну как гарантию общего дела. Ради того, чтобы было время ходить, куда хочется, и отвоевывать у жизни принципиально новое право – тратить.

Ее звали Нора. Она любила странную высокую, в смысле моды, одежду, белое золото, бриллианты, анальный секс, мужские сигареты. Она была невозмутима, спокойна, равнодушна, умела говорить правильные длинные фразы, от которых у него стыло сердце.

Он никогда не знал, что она чувствует.

«Паше и Норе! В радости и горе!» – так было написано на серебряном блюде, преподнесенном друзьями на десятилетие их свадьбы.

Он любил перечитывать эту надпись, находя в звучании их имен оскорбительную для себя, лестную для нее расшифровку сути характеров, самого почерка отношений.

Что такое десять тысяч? Полторы секунды их работы над новой добавкой к порошку, стирающему пятна с совести или к кофе, растворяющему желудок. Они жульничали и шельмовали, вывозя разработки под видом неумелых студенческих работ, никого из них не ждала Нобелевская премия, почести, рукоплескания завистливых академиков, с лицами как потертая замша. Он хоронил таланты под сходящими на их головы денежными лавинами. Хороводил важных государевых людей за возможности. Тайно интриговал. Имея только Нору в оправдание всей этой лихой, но душевно утомительной затее: он однажды добыл себе такую причудливую девочку, назвал ее женой и теперь до конца дней должен кормить ее монетами, потому что она питается только ими.

В Другом Городе он прочтет ее-чужие письма в маленьком окошке телефона, он заглянет сквозь него в ее тайну, и он вырвет ей жало, которым она так больно жалит его. Может быть, после этого он убьет ее, если обида не пройдет. Может быть, даже выгрызет ей горло, потому что война между мужчинами и женщинами самая обычная и жестокая из войн. Или просто возьмет и наконец посмеется над ней, наконец все переиначит в замысловатой конфигурации их причудливых отношений.

Он иногда думал о том, что поединок с собственной женщиной-женой – это красивая война, и она намного привлекательней войны обычной, засыпающей вонючими мужскими телами мерзлые окопы.

Она смотрит в иллюминатор. Сок, вода, вино выпиты, под брюхом железной птицы пелена облаков.

Он всегда был страшный болтун. Но сейчас другое. Что он прочтет в окошечке телефона? Романтическую переписку, собрание самых драгоценных и самых страстных посланий.



Он наверняка увидит в окошечке и то, и другое. И, главное, третье: словесный мусор о пене дней.

Ее последняя история любви, точнее, эпизоды ее в тексте или в изображении. Он потрогает это руками, лизнет языком. Он понюхает запах ее измены. А ей что, не важно, как он разъярится? Она не боится его? Она за десять тысяч даст ему потрогать свою измену? И куда сбежит от его возмездия? Куда!?

Это слово – измена – претило ему. Какая измена, с кем? Кино не шло, воображение мигало и застревало. Герои дергались как парализованные. Нельзя было представить, как они сжимают друг другу руки до синевы, эти хрупкие неумелые девочки. Он морщился. Как это у них? Кто сверху, кто внизу? Он морщился. Он чувствовал измену и не понимал ее. Он морщился, глядел на ее профиль, морщился, грыз зубочистку, оставшуюся от пресловутого самолетного ужина, мучился, терзал пальцами нос.

Сколько раз она изменяла ему, своему болтуну? Этому дураку в клетчатом галстуке, вихрастому балагуру, который поманил, соблазнил рассказами о высокой луне, подвиге познания, растоптанному суровой равнинной жизнью, вдруг разбогатевшему, раздобревшему, накупившему ей бриллиантовых бриллиантов и теперь овладевающему ею с еще большей страстью, чем до рождения дочери?

Может быть, несколько – от высокомерия и брезгливости ко всему на свете? А может быть, именно от этих обстоятельств – множество раз...

Он знал ее. Наизусть, до мозга костей. Она не изменяла.

Хрупкая, но очень живучая, гибкая и мудрая еврейская красавица всегда относилась к мужчинам – и, конечно, к нему – с удивительным для иных женщин чувством, смешанным из холодной рассудительности и животной преданности. Так она каждый день с чуть скрипучей музыкой в голосе повторяет, словно заведенная: «болит голова, устала, болит голова, устала», но никогда не забывает малейшего предписания, сделанного ему врачом. Ему, ему! И еще – так мастерски закрывает глаза, когда надо, на все, без лишних вопросов и плебейской тревожности.

Он знал ее. Что не побоится настоящего страдания во имя и ради него – такого вот болтуна – почти что дурачка в аляповатой жилетке и ботинках с острыми носами.

Она курила и работала, поблескивая бриллиантовой рукой, она указывала всем домашним нужное сверкающее направление, и как могло приключиться, что в один прекрасный вечер она притянула к себе за плечи эту рыженькую флористку и стала с близкого расстояния разглядывать ее сияющее молодостью лицо? Может, как ворона, спутала блеск? Она глядела, пробовала на вкус, вдыхала аромат из приоткрытого рта и дальше уже не отрывалась от него много месяцев, преодолевая в себе вопросы и осуждение, неудобство в отношениях с окружающими, страх разоблачения и многое другое, чему она даже не умела подобрать имена.

Зачем тебе такая дорогая вещь?

Она спросила у него, почти не глядя в его сторону. Когда он согласился купить ее телефон с потайным окошечком.

Что ты надеешься там увидеть за такие деньги? Бульварные романы с картинками обошлись бы тебе куда дешевле.

Он знал, что она считает его пустобрехом. Что она привыкла к его развесистым речам о чем угодно, где смешивалось красивое и никакое, тонкое и безвкусное. Он тоже не повернул головы в ее сторону и тупо пробурчал себе под нос.

Ты меня больше не возбуждаешь...

Это неправда, – спокойно не согласилась она. – Но мой телефон тебе ничем не сгодится для этого.

Меня всегда возбуждали целующиеся девочки, – так же глухо пробурчал он.

Купил бы аэропорту за пару фунтов журналов с картинками, там таких продается множество, и фотографии покрупнее. Зачем ты держишь меня за простушку, дурачок?

Она любила устаревшие слова.

Ему нравилась ее консервативность, от нее он и возбуждался, принимая тщательность в выборе слов за проявление особенной женственности. Тем более он не мог понять невыносимой нориной страсти к Риточке, так звали эту рыжеволосую дуру, которая внезапно вклинилась в их заурядную и полную подводных течений жизнь.

Риточка.

Глупенькая, рыженькая, никакая.

Откуда она взялась? Зачем? Оба одинаково задавались этим вопросом. Он в широком смысле: зачем его очень серьезной и основательной жене – все-таки реставратор с двумя государственными наградами, его строжайшей Норочке, эта очевидная пакость и грязь, глупая молодая девка, по шуточкам их дочери Анюты – то ли модистка, то ли флористка? Безупречная Норочка, способная годами накладывать мазок за мазком на сожранное временем полотно Мастера, этими же сахарными перстами обводит, шурясь от блаженства, контуры дурацкого лица? О чем это? К чему?!

Она думала об этом, конечно, чуть иначе. Легкая девочка в узеньких джинсиках, крошечной малиновой маечке, со спиральками рыжих волос, такая нетелесная, веселая, всегда смеющаяся. Как будто ветерок ворвался в тяжелый застоявшийся воздух ее жизни.

Как-то нечаянно разговорились с девушкой на выставке итальянской гравюры в Музее Настоящего Искусства (МНИ) – та работала от компании, организовывающей банкет по случаю открытия события, развития события и закрытия события.

Здравствуйте, меня зовут Элеонора, – она чуть кивает, когда знакомится. – А Вас, наверное, тоже как-нибудь зовут?

Девочка засмутилась, покраснела, но сразу хихикнула и так игриво впережку с улыбкой произнесла невесомое, как она сама, имя «Ри-та».

Ри-та.

Ри-та.

Две ноты.

Фрагмент кадрили.

Нора показала Риточке выставку, сразу отчего-то добавив к порхающему Ри-та еще и «чка».

Они дважды попили кофе перед началом. Она успела узнать, что Риточка учится на стилиста и подрабатывает в компании, организовывающей пиршества (КОПИ). Праздник, который всегда с тобой – по-мужниному нелепо пошутила Норочка, в ответ на ритину исповедь о своей деятельности.

Моя работа превращать скуку в праздник, – улыбнулась Риточка.

Главное, чтобы не наоборот, – попыталась улыбнуться Нора.

Она успела, точнее, умудрилась, рассказать ей – ничего не смыслящей дурочке – о своей работе, о замучившем Старом Мастере, о муже, дочери, о своей мечте уехать одной на море в далекую страну, чтобы никто не звонил и ничего не спрашивал.

Вот бы и мне на море во Францию, – вздохнула Риточка.

Он любил вспоминать, как у них все начиналось.

За прожитые четырнадцать лет он просматривал это «начало» тысячи раз. Вот они вместе на дне рождения его одесского друга молодости, кто-то привел Норочку, тогда двадцатидвухлетнюю, в пестром сарафане, с очень короткой стрижкой, маленький алый рот, как будто стиснутые губы, в тонкой смуглой руке одна сигарета, вторая, третья. Очень напряжена, молчалива, неловка. Кто этот кто-то? Некто седовласый, с брюшком, самовлюбленный кабан, гордящийся этим самым брюшком и молодой женой. Адвокат.

Глупо, стыдно, нелепо.

Они с ней покурили на балконе, на кухне, поговорили о жизни в двух неопределенных словах: закончила художественный класс, реставратор, хочет ребенка. Он – развелся, лабораторная крыса, пытающаяся приложить свое обаяние (так тогда и сказал, чуть куражась своей как бы неотесанностью) к поиску достойной жизни для ученого человека, знающего языки, жизнь и людей.

Значит, вы все-таки человек, а не ученый, – пошутила она. – Это видно, не думайте...

То, что вы хотите ребенка, тоже видно – попытался пошутить он. – Могу помочь...

Он жил в мастерской друга-художника, который писал то Италию, то Испанию. Тоже друга детства, чей одесский акцент был слышен только землякам. Его клетчатое пузо и пушистые усы привлекали то итальянских, то испанских маленьких меценатов, как и его небесные пейзажи. Тот без колебания отдал ему ключи, протрубив на прощание:

Живи, гений, когда я буду гением, я поживу у тебя.

Он спал среди гипсовых голов, засохших мольбертов, окаменелых кисточек. Кстати, не зайдете как-нибудь?

Она позвонила через день и тогда же зашла, точнее, приехала на такси с пакетом апельсинов и сырных пластин. Откуда-то по дороге, куда-то по пути. В роскошном норковом мантии и сверкающих брильянтах на длинных худых пальцах с безупречным маникюром.

Мою прабабушку сожгли в Бабьем яре, – сказала Нора, чуть неумело глотая вино из немывтого стакана, – моего деда расстреляли в советском лагере за формальную провинность. У меня есть их фото. Иногда я вижу их во сне.

Отдалась ему тогда же, внезапно сбросив с себя всякий регламент, скованность, правильность, зажатость, нежно и даже робко прикрывая руками живот, устроилась в его объятиях, после того, как он взял ее, как и положено, приступом, полным страсти.

Его изумила формальная отточенность этого первого свидания, выверенность и подлинность каждого движения. Отдав себя, она предложила ему нечто готовое, завершенное, больше не редактируемое, удобное и разящее одновременно. Он взял и сразу поранился.

Он помнил, как спросил, у вас что-то случилось? На «вы», поскольку безупречная близость не сократила дистанции между ними.

У вас что-нибудь случилось? Случилось? – настаивал он.

Отчего же, – она подняла бровь и закурила, – вы просто очень понравились мне, вот и все. И если хотите, не надо ничего специальным образом городить, я буду просто иногда приходить к вам.

Хорошо, я понял, – с облегчением согласился он и тут же почувствовал в этом предложении обидное равнодушие, холод, цинизм, все то, что обычно чувствовали соблазненные им женщины, но не он сам.

Конечно, она помучила его, прежде чем одним зимним утром окончательно переехать сначала в эту мастерскую, потом в их первую квартиру, вторую, в последний раз уже с трехгодовалой дочкой на руках.

Она помучила его.

То делалась бледной и вдруг обессиленной, и их нежное свидание от этого резко прекращалось. У нее случались головные боли, и она пропадала на целые недели. Или уезжала за границу по работе, и они не виделись месяцами.

Временами в ней обнаруживалась страшная тоска, несчастье, она плакала, жалела своих престарелых родителей, сверх меры тревожилась за них, плакала по бабушке, от воспоминаний о еврейском детстве.

Но в другие дни она была щедра с ним, жарко выказывала свою приязнь. О муже говорила с почтением, называла его по имени-отчеству и никогда не злословила. Он, адвокат, хотел было мстить ей и даже встречался об этом поочередно с ним, Павлом, и с ней, но ее интонация, благодарная, навечно близкая, а также отсутствие малейших притязаний – она оставила ему все, кроме носильной одежды и некоторых украшений – быстро уgomонила его и он как-то сам сошел на нет.

Как она могла предпочесть его, балагура, одессита, по духу фальшивомонетчика, состоятельному и надежному господину, он не мог постичь умом, но все, что он когда-либо не понимал в ней, всегда свидетельствовало в ее пользу.

Когда она, наконец, переехала к нему, шапкозакидателю и фантазеру, именно поэтому сумевшему раздобыть денег и хорошей доли, то, казалось, «ничего специального» не случилось. Жизнь не прекращала плавности течения, пока наконец, примерно через год после рождения дочери, он не ощутил, что берега у этого течения железные и от этого холодно и надежно одновременно.

Так умно и разумно, что нечего даже и возразить, невзирая на головные боли, и бронхиты от курения, и внезапные приступы слабости и апатии, вечные антибиотики и снотворные на ночной тумбочке. Все было так «через не могу», что все получалось «могу», но без русского веселья, и даже праздник как будто по принуждению или послушанию. Она не жила, но мучилась и старалась, требуя за свой подвиг уважения и бриллиантов, а также готовности сносить унижения. Имена на бирках ее шуб согревали ее. Большие деньги, отданные за пшик, сиюминутную линию или фактуру, питали ее щеки румянцем, а сердце – усиленным биением.

Как же крепко он полюбил ее!

Он намертво врос в это тело, в эти плотно сжатые алые губы, в эти натертые вьетнамской мазью виски. В эти вечные физические и моральные терзания, в это стопудовое чувство вины: ее – от века, свое – от того, что сам не страдает, да и вообще грубовато скроен и, скорее всего, не достоин этого византийского блаженства – есть из ее рук, держать ее, спящую, в своих объятиях.

У вас с ней давно? Вдруг спросил он, смело глянув в карие глаза, с настоящей отцовской улыбкой на губах, ему нечего ревновать, не дурак же он, чтобы ссориться с женой из-за какой-то рыженькой, веснушчатой, как-то подсмотренной на фото с открытия какой-то выставки?

Четыре месяца, но именно то, что тебя интересует, было всего несколько раз и не происходит уже месяц.

Так подробно помнит. Значит, думает и переживает. Или, может быть, это ее обычный педантизм? Искусство реставратора?

Риточка зашла через два дня после банкета к ней на работу подписать рекомендацию. «Праздник удался на славу, гости веселились как заводные», – было написано на красивом листке бумаги с большим вензелем. Норочка улыбнулась и подписала. Или ей это померещилось?

Вам не понравился стиль? – тут же уловила Рита и улыбнулась. – Переделать? В Центр Реставрации в пыльный кабинет экспертов, посверкивающий микроскопами, скальпелями, шпателями, щетками с медной щетиной и прочим эскулапным инструментарием, вместе с ее улыбкой вкатился светящийся шар. Шарик света. Сияние, плеск, хлопанье крыльев. Так показалось Норе.

Здравствуйте всем! – сказала она, обведя глазами нориных сотрудниц, серолицых и уса-тых карлиц, и улыбнулась еще раз.

В конце, уже уходя, она, непринужденно перепархивая со слова на слово, спросила, как будто подружку, одноклассницу, сокурсницу:

А пошли со мной на открытие роскошного автомобильного салона, а? Приедут принцы и короли, фотомодели и музыканты, будет много икры и вкусного вина, пойдемте, ладно?

Она, конечно бы, отказала, да еще на людях, что за нелепость, честное слово, но как-то помимо своей воли, окруженная звонким Риточкиным смехом и медными спиральками ее пышных волос, веснушками, прыгающими по ее лицу, она согласилась: Что ж, любопытно, пойду с удовольствием, развеюсь, когда, в пятницу, хотите за мной заехать? Что ж...

Ты часто изменяла мне?

Зачем ты изменяла мне?

Еще несколько вариаций одного и того же вопроса.

И ее неперемный ответ: я тебе таких вопросов не задаю.

Он был ревнив. Поскольку изрядно подгуливал сам, был ревнив. Понимал, как это просто и у мужчин, и у женщин. Как говорили в его одесской школе – «легкотня».

В пресловутых командировках или пресловутых кабинетах пресловутых больших зданий, где множество людей топчут ногами свою пресловутую жизнь. Поухаживать – это прекрасный аванс. Его любимая шутка над жизнью.

Она была с ним однажды откровенна по этому поводу, еще в самом начале, во время одной из первых поездок в Другой Город, скромный и суровый, изысканный и дорожный. Они заглянули в кафе на углу – такими жители этого города гордились уже много веков подряд из-за извечной сосиски, точащей из пюре словно пенис, выпили, усталые от блуждания по улицам, набитым топографическими незнакомками. Их голоса были неразличимы среди стоящего вокруг пивного гула, они почти ворковали тягучими пьяненькими голосами, он – в предвкушении бесстыжего секса перед сном, она – быстрого и неприятельного исполнения обещающего стать супружеским долгом.

Мне не бывает совестно, но бывает стыдно, – призналась она.

Она сказала это после короткого раздумья в ответ на его предложение сделать нечто неприличное прямо здесь, не взирая на горлающих вокруг разогретых пивом аборигенов с длинными лошадиными лицами и рыжими бакенбардами, а также снующую под ногами мокрую тряпку на швабре.

Не бывает совестно? – переспросил он. – А я-то думал, что собираюсь взять в жены хорошую девочку.

Я не в этом смысле – как бы смутилась она.

Он принялся пытаться ее. Спрашивать, а в каком, в каком, в каком? Он чувствовал огромную внутреннюю неприятность от этих слов. Он зудел, ныл, обижался, нападал.

Я всегда откликаюсь на яркое чувство, – в самом начале этого светопредставления пояснила она, – я иду на свет, на энергию, я так и на тебя пошла, ведь ты же так огромно влюбился в меня.

А я все не мог понять, почему ты так легко отдалась мне, – бурчал он. – Не относился долго к тебе из-за этого всерьез.

И когда я иду на этот огонь, меня ничто не сдерживает. То есть во мне не звучит никакая струна, никакое правило, во мне вообще про это нет никаких правил. А потом стыдно. Во мне от этого рождается стыд.

Он чувствовал плохое. Опасное. Желание быть разубежденным в этих ощущениях.

Впрочем, ты напрасно беспокоишься, – говорила она, увидев в нем признаки расстройства. – Пока тот, кого любишь, занимает тебя целиком, другому нет места. Измена – это следствие пустоты. А пусто место свято не бывает.

В этот раз он спросил ее по-другому. Почему ты все это устроила? У тебя есть варианты ответа, – вымученно улыбнулся он, – от обиды, от досады, от усталости, от скуки.

От пустоты, – ответила она.

Самолет кружился, пытаясь сесть уже битые сорок минут. Он кивал то одним крылом, то другим, но окончательного «да» пока что сказать не мог. Другой Город, как всегда, не хотел принимать инородцев, и полдюжины самолетов водили хоровод вокруг нежного мерцания его огней, доносящихся из черной пропасти под их животами.

Павел переглянулся с отечным мужчиной, сидевшим через проход, и опять уставился в иллюминатор.

В брюхе у птицы, в которой они летели, отчаянно ревело, бортпроводницы с улыбками на усталых лицах раздавали леденцы.

Сиделись долго, Нора стиснула пальцы до синевы ногтей и долго потом в аэропорту принимала таблетки, становясь то белоснежной, то пунцовой.

Он подхватил ее привычным движением, вывел наружу, втолкнул в такси. Ее телефон, как и свой, он включил сразу после посадки, и тот нежно тлел, излучая у него в кармане еле заметное свечение. Он пек его, жег ему бок. Может быть, просто раздавить ее телефон ногой, как окуроч, вместе со всеми охами и ахами, которые он запечатлел в своей памяти, и дело с концом?

В такси по дороге из аэропорта он решил предложить перемирие.

Пойдем куда-нибудь поужинаем? Хочешь, позвоним, закажем столик? Хочешь куда-нибудь в китайский квартал, где под лампами дневного света дымится еда, и оранжевые вяленые кальмары висят гигантскими тушами в витринах ресторанов, напоминая резиновых кур для собачьих забав?

Он широко и красиво улыбался.

Там тебе принесут дымящихся алых гадов, истекающую медом, хрустящую как передник медички терракотовую утку? Выпьем вина из личи, хочешь?

Она любила китайский квартал с его густыми ароматами, ярко контрастировавший с огнями чопорного Другого Города, толкотню, суету, инородность мелко суетящихся мелких телесно людишек.

И вернемся пешком? – уточнила она.

Утром она отмокнет в бане в каком-нибудь близлежащем отеле, ее длинное худое тело обернут, обмажут, натрут, укутают, и это поможет ей прожить день, поскучать, полюбопытствовать при выборе одежды, послушать мюзикл. Проникаясь ароматами хамама, чувствуя прикосновение маленьких глупых ладошек, она оживала, протирала внутренние стекла и зеркала, настраивала оптику.

Говоришь, поужинать? В китайском квартале?

А когда же он заглянет в окошко ее телефона, когда станет бесчинствовать и яриться, когда попытается разметать в клочья ее планы и, как всегда, не справится с этим? Чтобы не ночью, надо поужинать.

Извини, мне надо позвонить.

Наливается злобой, пока она набирает номер. Один раз, второй, третий.

Дозвонилась.

Тоненьким голоском, таким, как всегда, когда напряжена, но любит, скучает, как бы второпях:

Мы долетели, все хорошо.

Протягивает ему телефон.

Поужинать – хорошая мысль. Давай, заруливай.

Он любил чувствовать простецкую жизнь, точнее, ее шероховатую подлинность и грубоватую наготу. Изысканность – особенно когда он оставался наедине с собой – уже сто лет в обед как не щекотала его. Конечно, он переболел всей нуворишеской холерой, его кочевряжило золотыми «картье», кашемирами и хьюмидорами, но на самом деле он от души обожал пельмешки и докторскую на бородинском, ледяную водочку вприкуску с пронзительным малахитовым малосольным огурчиком. Он прилежно терпел, отхвалившись перед собой же всем этим «лакжери», всякими «итэлиэн куччина» и «джапониз фуд», и теперь был рад честно отужинать в простецком месте за столиком с бумажной скатертью и фужерами из ближайшей скобяной лавки.

Нора заказала королевские креветки в мандариновом соусе, жасминовый чай и курила одну сигарету за другой.

Он – утку, сладкую говядину и анисовую водку.

Достал телефон, клацнул клавишами: постучался в окошечко. Ну, поглядим...

А тебе не кажется, что это варварская забава? За деньги подглядывать в замочную скважину или чужое окно?

Да ну? – деланно изумился он. А ты хотела бы, чтобы я деньги заплатил и не попользовался? То есть выступил бы как меценат?

Ответ не нашелся.

Он открыл фото.

Чья-то комната, просторная, с белыми стенами, каким-то плакатом на стене. Цветы в большой стеклянной кружке.

Рита – портрет, портрет, портрет. Смеется, худенькая, в тельняшке или полосатой майке. Профиль на фоне окна. Радостный, светящийся.

В обнимку с серым котенком.

Мелодично дзынькнув, пришла весточка.

Распечатал.

«Норка, прости меня, я совсем дуреха, честное слово. Сама не подумала, что сказала. Целую тебя, отдыхай и ни с кем не ссорься. Оч – ску – Ри».

Чистенько, но бедненько.

Я обязана слушать твои комментарии?

Глотнул водки со льдом.

Безо льда.

Слушай, Норка, а давай напьемся, отпуск же?

Фамильярное, но, по сути, неплохое предложение, – согласилась она.

Что, мамочка, что? – раздраженно шипела она в трубку, пока он ювелирно наполнял крошечные стопки ледяной водкой, – да, мамочка, мы долетели, все в порядке, я звонила вам, но было выключено, нет, мамочка, не надо так говорить, ты же знаешь, что я стала набирать вас, как только мы сели. Как папа, как себя чувствует папа?

Она говорила, желчно повторяя одни и те же фразы, долго – он знал, что она будет говорить минут десять, постоянно повышая градус раздражения и показного раскаяния, и поэтому даже не ерзал от нетерпения, он не ерзал от нетерпения во время таких разговоров, раздражавшихся всегда в неподходящий момент. В этом их смысл – уже давно постановил он. Что-то же должно быть нехорошо? Он решил сделать вид, что ничего не произошло. Она решила не давать ему возможности быть великодушнее и сама сделала вид, что ничего не произошло.

Принесли утку, сливовую бурую подливу в белой розетке, ломтики зеленых овощей, рисовые, белые, как бумага, блины. Она затягивалась густым сигаретным дымом, смотрела на него глазами, которые изо всех сил старались казаться теплыми. Он крутил головой, окунувшись ноздрями в щекочущий аромат жареного мяса – за соседним столиком два бритых наголо гомосексуалиста отчаянно кокетничали, лаская друг друга зажатými в палочках прямыми лапши.

Чужая жизнь – как чужое белье – всегда любопытна и всегда вызывает брезгливость, – сказал он с напускной задумчивостью. – Помнишь эту фразу? Ты сказала ее, разбирая вещи моей мамы, после ее похорон. Кстати, что ты чувствуешь, когда смотришь на педиков?

Принесли янтарных креветок.

Она не любит мать. Она обожает отца. Он живет благодаря маме, – часто повторяет она. Он живет благодаря маме... Глядя на педиков, не чувствует ничего.

Может, так и должно быть? – всегда по любому поводу подытоживает он.

Он просит официантку принести лимон. Еще со старых командировочных времен приучился к водке всегда присовокуплять лимон. За столиком у окна две старушечки с перманентом и рубинами на пальцах раздражают каракатиц.

Что ты чувствуешь, когда смотришь на жрущих старух?

Я устала с дороги, – говорит она прямо в его серые глаза.

Выпей, дорогая.



Однажды он решил, что выучил жизнь. Эти реки и эти берега. Эти подводные течения, эту глубину и этот брод. Грамматику жизни, ее правописание.

Норуся хочет спатки? – постарался он правописать подставу. – Ну пошли, пошли.

Не называй меня так.

Опаньки, – констатировал он, – один-ноль, ты попалась. Попалась, значит – посидим еще.

От выпитой водки и половины утки с говядиной у него родился смелый план: он готов вернуть телефон, полный ее душевных сокровищ, в обмен на ее правдивый рассказ. Так запросто, за чаем, по-семейному.

Она ела нехотя. Уныло тыкала вилкой.

Он ни разу не видел, чтобы она ела с аппетитом.

После ее двух рюмок водки, он неловко, по-мальчишески спросил: Или хочешь, чтобы вместе выпотрошили твой почтовый ящик?

Неплохая идея, – улыбнулась, она. – Спасибо, что напомнил, мне надо позвонить. Извини меня.

Она всегда много, утрированно много извинялась. С извинения начинала фразу. Так извинялась, что казалось, что и вправду есть ужасная провинность. Обычно провинность если и обнаруживалась, то микроскопическая, и становилось неловко, что она так убивается.

Он бесился от этих извинений.

Не корчи из себя жертву, – раздраженно говорил он.

За свои звонки Риточке, бесконечные, всегда случающиеся невпопад, она извинялась скупко.

То есть не хотела признавать за собой вины.

Но почему, пусть, наконец, объяснит, почему?

Они вышли на улицу.

У входа в ресторан парень и девушка целовались, сидя верхом на мотоцикле.

Она засмотрелась.

Он дернул ее за рукав.

Все-таки расскажи мне, как у вас все это началось, я хочу понять, я должен понять.

Она не отвечала.

Если я не пойму, это разрушит меня, – настаивал он. – Ты хочешь разрушить меня?

Он сжал ее как всегда ледяную руку.

Крошечное парадное их дома, винтовая лестнка к квартире, аккуратно выгруженные их полупустые чемоданы.

Он сжимает до боли ее ледяную руку: Это против меня, скажи, скажи?

Определенным образом не так, милый, – говорит она против ожиданий ласково. – Надо поспать, ты выпил, я устала.

Они красивой парой поднимаются в свою мансарду, некогда купленную им для этих поездок и будущего обучения дочери. У него, у Пашки-скомороха, есть даже свое гнездышко в Другом Городе, где заседает палата лордов и проживает сама королева. Он сумел. Смог. Он представит дочь королеве.

Он хочет плакать. Да, сентиментален, как девчонка, поэтому и артистичен. Она методично распаковывает чемоданы.

Он в душе двадцать минут.

Она в ванной час.

Он ее ждет, он не столько волнуется, сколько хочет понять, что же она сделает дальше. Предложит любовь, чтобы усыпить желание немедленно во всем разобраться? Повернется спиной, сошлется на головную боль и больше не шевельнется до утра? Подойдет, положит на его тумбочку кучу ненужных таблеток на всякий случай – если живот, если сердце, если завтра голова... Как положено верной еврейской жене. Что там Аня, ты звонила? – сухо спрашивает он, когда она выходит из ванной. Да, все в порядке, – так же сухо, даже бегло отвечает она. Она не обожает дочь. Он обожает дочь. Она боится за нее и винится перед ней за нелюбовь. Он дуреет от восхищения тем больше, чем больше понимает, что их дочь – это победенная им Нора.

Он не может спать, ворочается, измучивается.

Он садится на кровати, ложится обратно, его терзают фантомные боли несвершившихся судеб, он решает уравнение, где физика и метафизика то оказываются по одну сторону от «равно», то противостоят друг другу, невзирая на этот обнуляющий все усилия знак.

Конечно, Нора много раз могла бы эмигрировать.

Она прекрасный реставратор, она могла бы. Жила бы сейчас на какой-нибудь лондонской road, работала бы на «Сотбис» и также маялась бы от непонятости, болей, чужеродности всего чужого. Или, может быть, темнея лицом, принимала бы через страдание ухаживания какого-нибудь экс-русского танцовщика с накачанной попкой и репутацией отвязного гомосексуалиста.

Это было бы для нее куда естественней, чем извращение жить с ним. Он травил себе душу. Или могла бы что-нибудь талдычить английским детям в еврейской школе под Тель-Авивом. Рядом с фабрикой, где фасуют печенье или делают пластиковые тазы. Пахла бы по-другому. Давала бы по-другому. Да кому она вообще нужна, эта Нора?! Зачем он нагородил себе в голове этих замков из старой ветошной истории и паутины дурных снов, в которой давным-давно вместе с сухими мухами валяется и сам паук? Да она старуха, еврейская старуха, и конец!

Он мог бы тогда начать приторговывать компьютерами, потом фальшивым коньяком. Он мог бы стать обыкновенной фарцой, пристрелили бы, или сел, или сбежал бы прочь, женился бы ради гражданства, воспитывал бы киндеров в Канаде или Австралии, почему нет, почему, разве было бы хуже?

Для него – да. Поэтому он должен был идти по следу. В этом была его настоящая природная суть. Он зарабатывал на головах и охотился за ними прилежно. Он никому, даже компьютеру, не доверял своей гигантской, как александрийская библиотека, картотеки, где на карточки были старательно занесены его рукой имена, фамилии, года рождения, послужные списки и основные знания ценных умов, мыслишки которых он мелко фасовал и дорого продавал. Он помнил их всех в лицо, он читал многие из их трудов. Он не стяжал мещанской доли, она не вызывала у него аппетита.

Отколесив по всем российским просторам в поисках золотых извилин несколько лет, отпив «Жигулевского» по спальным вагонам с начальниками третьего ранга и начинающими коммерсантами в паленых фирменных спортивных костюмах, отдрючив по гостиничкам дежурных администраторш, он нарыл десятка два отменных кулибиных, умственная деятельность которых приносила ему суммы с длинными хвостами нулей.

Мог бы уже и остановиться.

Мог, но не смог.

Потому, что именно это больше всего обожал в своей работе. Охоту.

Он был сыщик, пинкертон. Его ни капли не волновали изобретаемые жидкости для промывки ушных раковин, катализаторы-анализаторы и разрыхлители для мозгов. Средства для эрекции и против нее. Антипригарное покрытие для грешников, горящих в аду. Он обожал сладко потягиваться в раннесоветском номерке на крошечной койке на краю света, ловя скупые рассветные лучи усталого северного солнышка, сладко разгуливать в несвежих носках по красной ковровой дорожке малороссийской гостинички, прицеливаясь своей карточкой в очередного провинциального гения с махрящимися манжетами и зрением, развернутым к природе вещей.

Разгадав эту географическую карту, он принялся за следующую. Друзья раздобыли ему базу красных дипломников университета, где учились африканские и латиноамериканские дарования, изрядно увядшего в новые времена. И уже в золотых часах покатыл, помчался, смело ступая из своего бизнес-класса на трап в какой-нибудь Гаване или Гаити.

Он обожал под хорошую сигару и коньячок (это он сумел полюбить взаправду) вспоминать эпизоды из этой грубовато-шероховатой жизни: как одним прекрасным утром угощал удивительной красоты мальчика мороженым или как кухарка с Гаити, черная как смоль, вечно болтающая по-креольски, выманила у него и часы, и шляпу, и сорочку, и деньги на подарок якобы жениху.

На своем пятидесятилетии в большом ресторане он напился, как и его гости – именитые ученые. Орали потом, трясли друг друга за грудки. Нора тогда ушла почти сразу после официальной части, ненавидела эти советские, по ее выражению, «фальшь-банкеты», и они с физиками дали себе куражу: кто о боге, кто о смысле жизни, кто о деньгах и любви. И громко так, прямо в кабаке, с неповторимыми модуляциями в голосе.

Он намагничивался от этого.

Он любил чистую красивую энергию мужицкого разгула.

Шофер выгрузил его в прихожей, и он, полулежа на африканских пуфах конца девятнадцатого столетия, купленных специально по настоянию Норы, чтобы можно было удобно надеть обувь, потребовал от нее полного разбора понятийного аппарата. Раз ему стукнуло пятьдесят, пускай, наконец, объяснится ним.

Зачем, – продолжал горлопанить он, как будто в кабаке, – я хочу знать твое «зачем», ты ведь жена мне или пописать вышла?

Скорее вошла, – спокойно призналась Нора, разматывая кашне и стаскивая дубленку, утратившую пару пуговиц. Смысл жизни, Пашенька, в непрерывности «Чайки», в честном производстве простых вещей. Чтобы театры ставили «Чайку», писатели писали книжки про любовь, садовники очищали пруды от ила, а крестьяне сажали свеклу. – Она баюкала его, пятидесятилетнего младенца, рассказывая детскую сказку, в которую верила сама и в которую хотела, чтобы верил он.

Он отбивался от «Чайки». Чехов – это туфта. Он требовал новой задачи. Он объяснял, что «Чайка» никому не нужна.

А новые задачи вырастут сами, как трава, – шептала она ему.

Помнишь, ты говорила про «Чайку»? – отчетливо произнес он, – когда мы говорили в коридоре о смысле жизни? После моего юбилея?

Нора, ты слышишь меня, слышишь?

Она не отвечала.

Он взял телефонное окошечко с ее тумбочки и пошел в ванную.

«Езжай спокойно, Норочка, моя любимая, моя самая главная на свете. Гляди вокруг себя своими красивыми глазами и пусть в них отражается красота. Не делай ничего тягостного, умоляю тебя, а я к твоему приезду приготовлю что-нибудь очень вкусное, вот увидишь...».

Папа!

Ты оторвала меня от чтения. Что?

Иди сюда, не майся.

Что означает «не делай ничего тягостного», здесь написано?

Ну, иди, иди сюда, все остальное завтра.

Она иногда умела быть теплой. Отличницей по теплу. Пятерышницей домашнего очага.

Куда ты боишься не успеть? Мы ведь здесь целую неделю вместе. Ну, иди сюда, мой хороший, иди.

Он лег рядом.

Она свернулась клубочком и привычно вписалась в изгиб его тела. Поцеловала кончики его пальцев, отчего-то, как всегда, плакала.

Ты помнишь, ты говорила тогда про «Чайку»? – полным благодарности голосом переспросил он. Ему было плохо, хорошо, любопытно, безразлично, она умела делать его таким, повернутым сразу во все стороны. – Что ты тогда хотела сказать мне?

Не помню уже, – призналась она, – но могу постараться, напомни.

Он напомнил.

Несмотря на вспыхнувшую было в нем трогательность, она всерьез принялась объяснять про «Чайку», подробно и дотошно, но он уже целовал ее, глотая по капельке ее тяжелую инертную плоть, такую при этом ароматную и насыщенную. Он наполнялся ее тяжелой энергией, как ракета, он вдыхал ее запах и отрывался прочь от любых мыслей и любых наблюдений, от оценки себя, от страха перед будущим.

Она отдалась ему как всегда, он взял ее как всегда и они уснули от этого оба, как всегда, дав друг другу единственный возможный покой и расслабление.

Он проснулся через час от страшной жажды. Встал, на цыпочках шагнул к бару, задев обо что-то ногой, больно ударился об угол кровати.

Она тяжело повернулась на другой бок, то ли чуть застонав, то ли просто глубоко вздохнув.

Он не понял. Он взял банку кока-колы и жадно глотал большими глотками, воткнув алюминиевый взгляд в улицу за окном – ветер, пустота, мокрая мостовая, черные окна без штор.

Пустота. Выпито.

Она попросила не пить так отчаянно ледяную воду.

Заболеешь, поездка пойдет насмарку.

Он что-то буркнул, шагнул назад к кровати, привычным, неотделимым от него самого жестом обнял ее сзади под живот, уткнулся носом ей между жестких костлявых лопаток и в мгновение отчаянно захрапел, как всегда, мешая ей спать, вызывая ее брезгливость и обычное отвращение. «Это просто моя жена, – мелькнуло у него на прощание ушедшему дню, – и нечего здесь мудрить. Нормально все».

Я никуда не пойду, болит голова, нет сил, ты же знаешь, я всегда никакая на следующий день после перелета.

Одна сигарета, вторая, третья. Нетронутый завтрак, который он приготовил ей сам из того, что нашел в квартире. Что именно? Полусырая вареная яичница, тосты, зеленый чай с жасмином.

Четвертая сигарета, пятая.

Она как будто всегда делала назло своему здоровью.

Он был воспитан здоровым мальчиком со здоровыми привычками. Конечно, он мог напиться, перебрать, любил переест, уработаться, но потом непременно пару деньков разгрузился, пил хорошую минеральную воду, приседал и отжимался.

Поешь все-таки.

Он спустился позавтракать вниз, в крошечную кафешку, которую держали две неумехи – рыженькая и черненькая. Народу было много, свежавыжатого апельсинового сока – мало, всем не хватило даже газет с улыбающимся премьер-министром на серой фотографии.

Он улыбнулся, заразившись улыбкой, паре напротив, поблагодарил за что-то официантку, взглянул на часы. К половине второго она встанет и к половине шестого уже потратит на шмотки, сумки, пряжки премилую сумму его денег, будет нарочито нежна перед этим и нарочито холодна после этого.

Распахнул телефонное окошко. Отхлебнул кофе. На полминуты отложил телефон и занялся тостом: медленно, с ювелирной точностью размазал податливое масло по его ароматной шуршащей поверхности, откусил.

Когда все могло начаться? Он пытался вспомнить, как прошло лето, начало осени. Не помнил ничего. Долгие переговоры со словоохотливыми иностранцами – сентябрь. Очередная поездка на Кубу – август. Жара и вонь. И что? Он не помнил.

Она всегда исподволь упрекала его, что он никогда не помнил их жизни. Умела сделать это мастерски, когда он меньше всего ожидал. Коварно.

Он доел хлеб.

Начал сначала.

10 октября. Рыженькая, обворожительно хорошенькая, легкая как солнечный зайчик девчонка с котенком на руках. И надпись: «Я Рита. Этот день наш».

Он стал перебирать письма. Искал что-то от 10 октября. Не нашел. Стал смотреть 11-е, 12-е, 13-е, 14-е.

Нашел 14-го. 30 секунд прекрасного видео.

«Вот видишь, это ты сидишь на диване, а я подхожу к тебе и глажу тебя по волосам».

В окошечке Нора. Она сидит на диване, смущается, скована стыдом и возбуждена любопытством.

Он смотрит на стесняющуюся Нору, она выглядывает на него из телефонного окошка, а кто-то произносит звонким таким голосом «поглажу тебя сейчас, и это останется у тебя так надолго, как ты захочешь».

Легкая ладошка подлетает к черным тяжелым нориным волосам, порхает вокруг них, светящийся тоненький пальчик убирает прядь со лба к виску.

«Ну, скажи мне, что тебе нравится, что тебе хорошо вот так».

Смех звенит, переливается, наполняет все окошечко до краев.

Любопытно, – полустрого-полуиронично выдавливая из себя Нора. – Приятно...

Где же это?

Он смотрит второй, третий, сотый раз. Кусок стены, две красные подушки, нелепая картинка. Кажется, открытка с репродукцией Шагала. Или нет?

Может быть, у нее? Если 14-го уже у нее, а где же еще, значит, уже знакомы минимум месяц. Значит, сентябрь?

Он злится на себя. Зачем он высчитывает это, разве эти месяцы и дни что-нибудь значат в этой истории? Он же не вычисляет срок беременности!

Мамочка, ведь ты же знаешь, чем закончатся твои эксперименты. Почему ты не хочешь взять нашего водителя, он же свободен. Вызови его и поезжайте на рынок, ты же знаешь, мамочка, что с сумками ты можешь упасть, и папа будет зря волноваться, пока тебя не будет.

Нора говорила с подавленным бешенством, с подавленным же неистовым раздражением, почти шепотом.

Когда он вошел, она была одета, с тонкой белесой маской на лице, похожей на кожицу давно усопшего, но очень молодого лица.

Папа, ты унес мой телефон, – коротко проговорила она, закрывая трубку рукой. – Я волновалась, что может позвонить мама.

Почитывал, поглядывал, – неестественно хихикнув, ответил он, – расшифровывал письма твоих страстей.

Она сделала вид, что не услышала.

Хотя он слышал, как она подумала.

Дурак, – подумала она.

Что значит убить женщину, которую любишь? Почему эти мысли такие частые и такие обычные, почему столько об этом песен, фильмов, книг? Убей меня нежно – кажется, так? Он попробовал напеть. А может быть, это непременное рабское действие? Их язык? Их манера письма – на заборах, стенах, телах своих угнетателей? Или, напротив, только истинные патриции, знающие слово, красноречие, вправе, исчерпав все это, точно нанести удар и насладиться правом мщения? Женщины против мужчин, мужчины против женщин. Укол, удар, выстрел. Он принялся перебирать в памяти, как любил ее, и как она его угнетала, не понимала, обманывала, чайку какую-то приплела...

Она больше не говорит с матерью. Она сняла с лица маску и красится, готовясь выйти. Сняла одно лицо, рисуешь другое, – злобно пошутил он.

Они словно чужие. Отсчет пошел. Она не любит его.

Хам, – думает она, – хам и простак! Почему я должна так страдать всю жизнь от быдла? Я ли не нянчусь, не вычищаю авгиевы конюшни из его души и жизни? Делаю из него господина, дочь ему родила.

Она злится за телефонное окошечко.

Она даже не боится за свою хрупкую светящуюся Риточку – ну, подумаешь, нахамит он ей! Она же пушинка, перышко, она покружится и улетит от его слов, ее не догонит его хамство! Пушинку ведь нельзя раздавить...

Мне нужны твои комментарии.

Тебе нужны не мои комментарии, а мои рассказы, и заметь – не нужен мой телефон. Ты напрасно потратился.

Он, как всегда, очень обиделся и очень рассердился, и, как всегда, не подал вида. Он, как всегда, отшутился, что не тратился, а баловался, что она же знает, какой он баловник, и он готов потратиться и на ее рассказы, вот прямо сейчас, на пятом этаже по адресу этой дурацкой

улучки, и вообще не выберет ли она ему пару костюмов, они же так любят вместе ходить по прекрасным магазинам Другого Города?

Он почувствовал страшный стыд. Что он позволил себе – вот так рыться в чужих письмах, ковыряться в нориной душе... Да что она сделала ему? Секреты его выдала злым волкам, взяла врага в любовники, съела его добычу? Ну, есть у нее какая-то история, он и не знает какая, с какой-то симпатичной, да, именно симпатичной, девчонкой, а он так распоясался, распустился, такое позволил себе!

Его качало.

Ее тошнило от его качки.

Нора, прости меня. Я дурно расстроился, мне надо помочь. Я плохо управляю собой. Я сам не знаю, что делаю.

Она не подыграла ему. И не подыгрывала никогда. Ее не интересовали его метания. Она считала, что имеет право на свои вредные сигареты, на бессмысленную диету, состоящую из полусырого мяса и кислых ягод, на блажь тратить раз в сезон сумасшедшие деньги на кожи и лепестки. На Риту, наконец. Она купила это право своей мукой, жертвами своими ради этих несносных грубых людей, этих неотесанных тупиц, которых принуждена любить. И любит. Как может. Выживая по-змеиному, карабкаясь по-паучьи.

Я не дам тебе комментарии, – холодно сказала она, – потому что то, за чем ты охотишься, не имеет к тебе никакого отношения.

Так может, поэтому и надо дать? – попытался вывернуться он.

Она внимательно посмотрела на него. С какой-то обычной скукой, усталостью и высокомерием. Так, с напряжением воли, как смотрят на мелкое насекомое, утомившее писком или жужжанием.

Может, поэтому и дам, – спокойно проговорила она.

Они вышли на улицу. Он опять ненавидел ее. Как сотни и сотни тысяч раз, когда она с такой легкостью одерживала над ним верх.

Ее поташнивало, но покупать вещи она обожала, от этого в ней рождалась не обычная тяжелая мутная энергия выживания, а, как от Риточки, светлый и искрящийся поток радостной силы.

Она не думала о нем, Паше. Он просто переставлял ноги рядом с ней.

Почти автоматически спросила:

Позвонить дашь?

Он видел, как она разговаривает.

Она видела, что он видит, но считала ненужным считаться с этим. Никчемным.

Он видел, что она разговаривает нежно, что многократно повторяет ласковые слова, он слышал имя «Риточка», которое она старательно произнесла после вопроса «как ты, девочка, что у тебя?». Он слышал, как она говорила «скучаю, скучаю, скучаю».

Он поморщился.

Он подумал, что в слове Риточка есть слово точка. Он отчетливо ощутил эту точку физически, потрогав себя сантиметров на десять выше пупка. Он нажал указательным пальцем на эту точку, словно включая пропеллер.

На старинных кривых улочках, как всегда, было много соотечественников. На его громкий вопрос «кто из вас гладит кого по коленке?», обращенный прямо в норочкин в алой помаде рот, прямо в распахнутые темно-карие глаза, обернулось с полдесятка прохожих.

Она наскочила на этот вопрос с разбега, ударившись об него, больно, неуклюже попыталась закрыться руками, но потом распрямилась: «Тебе надо это знать? Но зачем, Пашенька?»

Они вошли в магазин. Она принялась мерить туфли. С вывернутыми наружу каблуками, распоротыми подошвами, сбитыми на бок носами. Ей нравилось. Она хотела их все, с прошитой между швами насмешкой, с уложенными под стельку шуточками.

Они вошли в другой магазин. Она принялась мерить черные асимметричные, словно сползающие на одну сторону крылья, сдвинутые набок швы, намекающие на надломленный позвоночник или врожденную горбатость, которой наконец-то отвели положенное ей почетное место. Ей нравилось. Она хотела это все.

Они вошли еще в один магазин. Она уютно расположилась среди швов наружу и льнущих к запястьям потеков краски, прижалась узкой смуглой шеей к высеченному секирой вороту. Она хотела это все. И она купила почти все – и в одном магазине, и во втором, и в третьем.

Это было окончательным объявлением войны. Не потому, что он жалел на это денег или измаялся в этих магазинах – мог бы и не крутиться там, как пришпиленный, как бабочка вокруг булавки, мог бы пойти куда-нибудь. А потому, что она показала ему, в тысячный, в миллионный раз, что имеет на себя свое право, собственный закон, а он или встраивается, или как ему будет угодно. Его сопли и охи ничего для нее не значат рядом с желанием закупить себе новой кожи. Разной, дурацкой, невыносимой. Именно за это, за это он и убьет ее однажды. Он думал так уже много лет, и уже много лет эта мысль была единственным болеутоляющим средством, который попадал прямо в цель.

Он отшучивался, как откашливался, подхватывал ее хрустящие пакеты, предлагал перекусить, пока опять не скрипнул, не качнулся: так не поможет ли она и ему подобрать что-нибудь?

Ему не нужна война. Ему нужна победа. Всегда нужна только победа. Он проголодался.

Она смотрела, как он ест. Как забывается, откусывает по-простецки, вся его одесская сущность высовывалась, вылезала в полный рост из его кашемиров и шелковых пошловатых кашне, когда он ел. Чмокал, облизывал пальцы, подхватывал крошки со стола, цыкал зубом.

Тебе бы лучше пацаненка иметь.

Он не понял ее фразы. Решил, что она сказала ему дерзость. Побагровел. В каком это смысле?

Не дочь, а сына, – пояснила она. – Мальчика. Возились бы, наслаждались своей природой.

Он сказал, что не возражает, надо попробовать.

Она уточнила, что высказывалась не в этом смысле.

Он уточнил, что высказывался в этом смысле. И отчего-то добавил, что любит ее и благодарен ей.

Ты напился пива, – подытожила она.

Так как про коленочки? – повторил свой вопрос он.

Она закурила.

Он принялся вертеть в руках ее зажигалку, хотя знал, что она этого не выносит.

Тебе интересны интимные подробности? Но тебе они – зачем?

Мне интересна эта история.

Ему интересна эта история.

Тебе она интересна почему? Почему?

Первая перестрелка.

Я хочу понимать тебя.



Он хочет понимать ее.

Она не видит здесь настоящего мотива. Она изнурительно долго объясняет ему, что ему и ей это понимание уже ни к чему. Или – просто ни к чему. У них есть больше, чем понимание, – настаивает она, – у них есть общее пространство жизни.

Он упирается. Он настаивает, что нужно понимание, что в нем развитие отношений и перспектива, потому что если нет развития, то нет перспективы, а если нет перспективы, отношения умрут.

Или мы, – пытается состричь она.

Она полемизирует по поводу такой перспективы. Говорит, что привычка выше понимания, сросшаяся жизнь – факт неумолимый, как сросшиеся кости у близнецов. Ужиться – вот проблема, а понять – дело нехитрое.

Он настаивает на своем. Он напирает в рассуждении на то, что он мужчина и привык доверять твердой почве. Понимание – одна из них.

Ему нравится их полемика. Он считает, что побеждает, потому что парит над полем боя.

Она, как всегда, злится от его демагогии: хочет просто выведать, а делает вид, что умник-разумник.

Если ответишь очень четко, зачем тебе все это знать, я тебе расскажу, – подытоживает она.

Я хочу убить тебя, – шутит он, – и шью тебе дело. Чтобы меня потом оправдали.

Понятно, – сказала она после небольшой паузы. – Тебе с какого места рассказывать про коленки? Тебе для понимания как будет лучше?

С самого начала, – внезапно сухо, как во время делового разговора, когда речь заходит, наконец, о суммах, отвечает он. – Прямо с самого начала, во всех подробностях, как ты любишь, до темноты в глазах.

Они вышли из ресторана и побрели в сторону огромного королевского парка с множеством причудливых птиц и старинных деревьев.

А подробностей никаких нет, – после долгой паузы с некоторым злорадством отвечает она, – нечего рассказывать.

Как нечего? – попадает он в ловушку.

Злится, что попался. Злится, что не был готов к этому известному повороту событий.

Выхватил, как саблю, телефон.

Я помогу тебе.

Обиженный мальчишка.

Голосом, полным почти рыданий, тем самым голосом, которым – он знал это с молодости – нельзя говорить с женщиной. Особенно с этой.

Я помогу тебе.

Теперь нажмите на ключик.

Послания. Вот они. Его холеные пальцы с маникюром чуть подрагивают. Сейчас он ненавидел этот маникюр.

«Радость моя. Смотрю на закат без тебя».

Или.

«Так долго тянется вечер, скучаю, не дождусь, когда увижу тебя, радость моя».

Помог?

Сейчас будет еще.

Послания. Отправленные.

Давай из последнего?

«Я не получаю от тебя писем? Отчего? Может быть, ты не получаешь моих?»

Или: «Риточка, девочка, звонила тебе, не отвечаешь, не перезваниваешь, неужели и ты иногда хандришь, как твоя Нора? Перезвони».

Она очень страдала.

Она курила одну сигарету за одной. Эта поездка ей была невыносима с самого начала. Эти новые кожи для нее, придуманные другими людьми, пускай даже специальными, не стоили этого ада. Она радовалась им автоматически, она радовалась для проформы.

Она страдала от разлуки.

Глупейшей, потому что автоматически принятой.

Она страдала оттого, что буквально за неделю до окончательного подтверждения этой поездки ему, губошлепу, отцу ее дочери, перед которой, конечно же, как и перед всем миром, виновата, вдруг поняла, что влюблена по-настоящему, что грезит о глупостях, неприемлемой ерунде, завтраке вдвоем, ужине вдвоем, празднике вдвоем, дурацкой головной боли рядом друг с другом... И одновременно с этим так же отчетливо поняла, что уже не так интересна, не так привлекательна, не так желанна.

Что скажешь? – натужно светски улыбнулся он.

Его вопросы ранили ее. Все, что напоминало о Риточке, ранило ее. Она привычно и неболезненно служила женой, согревала любовью, мерила тряпки. Но она не могла выносить прикосновений – неважно чьих – к этой ее отчетливой ране.

Потому ли Риточка охладела, что она так и не пошла на то, чего та от нее добивалась? Теперь она уже была готова пойти.

Если так нужно.

Но чего же Риточка добивалась?

Она не знала отчетливо.

Хотя именно теперь это был бы самый неосторожный шаг: риск все испортить неумелостью, неловкостью, риск соединить воедино, вполне себе по отдельности сносные вещи – влюбленность и влечение. Соединенные, они смертельны. Норочка прекрасно подсчитывала вперед, перебирала последствия. Норочка прочно усвоила эту опасность с молодых ногтей, когда с ней приключилось нечто подобное и она...

Про коленочки? Их не было.

Он чувал, что она страдает. Именно сейчас он сформулировал для себя, что именно это его и бесит: она страдает, что у нее есть чувства и принадлежат они не ему.

Брось ты, – он коварно смягчился. – Ты же моя жена, и мне кажется, ты попала в беду. Я должен предостеречь тебя.

Она почувствовала раздражение, которое в сочетании с болью моментально превращалось в агрессию.

Он почувствовал, что фальшь сейчас – наилучший способ задеть ее, и остался доволен сказанным.

Лучше просто расскажи все по порядку, – ласково попросил он. – Что у тебя с этой девушкой. Я знаю, вы переписываетесь, часто говорите по телефону. Ты откуда ее знаешь?

Она что-то уверено рассказывала про стажерку, дипломницу.

Он слушал, улыбаясь, как она врет, зная твердо, что добьет ее ложь одним щелчком по ее же телефону с окошечком.

Она тоже знала это, но ей было наплевать. Именно так, как бывает наплевать ей, Норочке – с размаху, огульно, когда вся ее рассудительность внезапно превращается в одно оборонительное движение под названием «наплевать». И не от импульсивности или глупых эмоций, а по расчету.

Она отчетливо помнила, как тогда, на этом фальшивом празднике, присутствие забавной девчонки сделало все легким и приятным. Она помнила, какую внезапную радость вызывали в ней ее выющиеся волосики, острый нос, светящееся молодостью лицо. Она несколько раз поэтому подходила к ней во время мероприятия, даже дотронулась до ее локотка, что для нее, безразличной чопорной и очень церемонной Норе – чрезвычайное происшествие.

Поэтому она и согласилась пойти на очередной фальшивый праздник имени то ли автомобиля, то ли ювелира, увенчать который должна была ненастоящая коррида с гуттаперчевыми быками и тореадорами-трансвеститами. Поэтому она и не ушла оттуда, немедленно почувствовав отчетливую гадливость, что не могла ее обидеть, эту златовласку, не хотела ее расстроить и – может быть, уже тогда, кто знает? – хотела любой ценой побыть рядом с ней как можно дольше.

Что же с тобой происходит, Норочка, несешь невесть что?

Голос его прозвучал пусто и сухо, сделался чужим и безучастным. Это не ранило ее, но как-то обострило болезненность от вот уже четыре часа не перезванивающей Риточки.

– Я на допросе или на исповеди? – ее правая тонкая и острая, как сабля, бровка внезапно взмыла к середине лба. – Что ты потрошишь меня, как дохлую курицу?!

Он уткнулся глазами в ее пальцы, тонкие, с характерным расширением среднего сустава, почему-то представил себе кастрюлю с вареной курицей, знаменитым еврейским зельем, и внутренне содрогнулся от безразличности ко всему еврейскому. Это было чужое. Это было враждебное ему чужое.

Хитрость, расчетливость, коварство, корысть.

Западня для каждого, кто попытается распутать сеть. Паутинка, беззащитная, ажурная, очаровательно хрупкая для каждого, кто лишь полюбуется ее трепетанием на солнце, да и смахнет небрежным чуть неуклюжим движением к чертям собачьим.

Норочка не уходила с фальшивого праздника, потому что не хотела расстроить Риту. Рите было восторженно-прекрасно среди организованного ею самого действа.

Сколько тебе платят за всю эту фантазмагорию? – чуть раздраженно спросила ее Нора на обратном пути.

Почему фантазмагорию? – искренне изумилась Рита, обдав Нору такой неподдельной радостью и таким сиянием молодости, что Норе стало даже неловко за свой вопрос. – Это просто праздник, Норочка, знаешь, праздник – этот особое состояние души.

И добавила:

Мне платят три тысячи в месяц.

В этой фразе Нору шокировало все – и Норочка, и состояние души, и три тысячи в месяц.

Но в данном случае ее шок, замешанный на неприятии действа, был совершенно иным, чем обычно. Ее влекла непонятной притягательностью и сама Риточка, с ее запахом, цветом, звуком, и исходившая от нее пошлость – своей, в первую очередь, недоступностью для нее. И конечно – фирменная риточкина легкость, именно таким словосочетанием Нора определила

главное ее качество – фирменная риточкина легкость, такая удивительная, органичная форма приятия всего-всего и радость от той жизни, что проникает ей внутрь через поры.

Хорошо, я отвечу тебе.

Она посмотрела на его вдруг сделавшееся измученным лицо. Он глотал анисовую водку, потел, его лицо вдруг посерело, потускнело, постарело. Они сидели в кафешке у королевского пруда, и в его глазах отражалась вода. Он был похож на разряженного вурдалака в красном клетчатом шарфе и с белесыми блестками в глазах. На смертельно уставшего вурдалака, отравившегося нехорошей кровью, разломавшего зубы об ее каменную плоть.

Хочешь знать?

Что между вами происходит? Кто она? Что вы делаете?

Она девушка-затейник. Ей двадцать пять лет. Ее зовут Рита. Мы познакомились на празднике в Музее, помнишь, я открывала там коллекцию живописи? С тех пор мы подружились, ходим куда-то, говорим о чем-то, никакого преступления.

Ложь.

Он внезапно вышел из себя. Разъярился от собственной усталости.

Я разведусь с тобой и отберу у тебя дочь.

Ложь – это просто препарированная для других правда.

Он орал среди королевского парка, хлопающих крыльями разномастных птиц, вежливых аборигенов, из последних сил не замечавших супружеской размолвки.

Я отберу у тебя Аньку, слышишь, гадина?!!!

Он неуклюже встал, опрокинул стул.

Она устало посмотрела в его сторону, закурила. Подскочившему официанту спешно заказала воды без газа.

Она и сама думала, точнее, мечтала, видела в странных несвойственных для себя грезах, что пребывает с Риточкой в маленькой белоснежной залитой солнцем квартире на небесах-стрит, или небесной роад. Без Анюты. А к ним, болтуну-говорону и дочечке-строчечке, приходит повидаться изредка на землю, и они радостно все втроем пьют чай и лопают любимые Анькины кексы, с разноцветными цукатами и прочими сказочными чудесами.

Но почему Рита не звонит?

Она хотела было позвонить сама, но, не обнаружив телефона, так и осталась сидеть за своей водой и сигаретами, раскладывая в голове вопросы, требующие немедленного решения.

Он ушел, вернулся.

Встал, сел.

Она посмотрела на него: полупьяный с серым лицом и расковырянной как прыщ душой.

Ты уверен, что хочешь копаться в этом с риском не вернуться никогда назад, туда, где мы сейчас сидим – ты и я, и Анька, и наша дурацкая, но жизнь?

Да.

Да?

Да.

Они угрюмо побрели домой. Он покорно тащил хрустящие пакеты, плелся, словно на эшафот, от которого ожидал и муки, и чуда, и избавления, и надлежащего событию урока.

Они молча доехали до подъезда, поднялись, щелкнули замком входной двери.

Он сел в гостиной в кресло, как был, в пальто и клетчатом шарфе.

Она сделала то же самое, решив, что раз он выбирает драму, то пускай будет драма.

Я ведь не должна тебя развлекать своей историей, живописать ее и приукрашивать тебе на потребу? Ведь нет? Тогда все очень просто. У меня любовные отношения с женщиной. Ее зовут Рита, ей двадцать восемь лет.

Ты же говорила – двадцать пять?

Эти любовные отношения полноценны, они затрагивают все то, чем дорожат люди. В мои планы не входило разрывать из-за них наш брак, хотя нередко я грезил об этом. Мне кажется, что в последнюю неделю моя Рита несколько утратила ко мне интерес. Я ответила на твои вопросы?

Он завыл.

Она сидела неподвижно в кресле, курила, смотрела прямо перед собой.

Вы только послушайте, – выл он, щелкая телефоном с окошечком, словно затвором. Палец его перелистывал времена и даты их любви, пытаясь зацепить нечто позабористей, но любовная ткань все соскальзывала с сумасшедшего пальца, превращаясь в обычный шум чужих слов и выветрившихся знаков препинания.

Вы только послушайте, выл он по-волчьи: «Норочка, ты самая лучшая на свете, самая красивая на свете, ты и есть свет, мой свет, твоя Рита». «Риточка, мы так с тобой чудесно гуляли вчера, такой был осенний свет, такая красота переулков, особняков за оградами, ты такая волшебная девочка, моя Риточка, благодаря тебе я вспомнила, что столько радости вокруг и столько волшебства».

Гааадость!!!

У него не получалось уличить. И он продолжал выть. Он бился головой об стенку, об пол, он грозился поранить себе осколком бутылки – руку, голову, живот.

Она неподвижно курила, потом тихо, но отчетливо произнесла «Прекрати истерику, я уезжаю».

Она встала из кресла, вышла, ушла, исчезла.

Он остался один в разоре, тишине, наполненной тиканьем и миганьем домашних рабов: часов с маятником, проигрывателя с сенсером, телевизора с блютузом, холодильника с кофемолкой, микроволновой печи – не нужных сейчас и бесполезных, как правило. Но они жили, светили, мигали. «Мы здесь, – подсказывали они – не надо ли чего сыграть или заморозить?»

Сволочи, – сказал он холодильнику, проигрывателю, микроволновой печи. – Я убью ее, слышите, сволочи?

Огляделся, встал, прошел по битому стеклу, прислушался.

Почему-то зашторил окна, схватил ножницы, нож.

Раз никого нет, то все можно, – подытожил он. – Будет знать, как уходить среди ссоры.

Прошел через коридор. Вошел в ее-их комнату.

Резанул один пакет, второй, третий. Словно вспорол им животы.

Отсек бирки с глупыми именами, ценники, обезглавив кожи, подрезал платья, оторвал каблуки.

Он казнил ее, совершая над ее тенью то, о чем столько мечтал. Он играл в маньяка, словно мальчишка, получивший от жестоких родителей право вырасти подонком. Он тыкал ножом в грудь, усыпанную кристаллами, он пронзал ее за то, что она каждый день рвала его душу. Он оторвал рукава с замшевыми и меховыми вставками, бормоча проклятия, за то, что она всегда путала имена его друзей. Он кромсал игривые подолы, он плакал, он упрекал ее почти вслух за то, что она никогда не замечала его дел, считая их несуществующими, не достойными быть замеченными. А он старался. А он хотел быть замеченным.

И дальше ножницами, выточки и складочки – прочь, наружу, за Новые года без радости, за путешествия без страсти, за пустоту каждого дня. И так далее, так далее, так далее.

Он заметил ее только, когда она уже докуривала сигарету в дверях комнаты. Молча. Неподвижно. Удивленно.

Поймав его взгляд своими спокойными глазами, спросила:

Что случилось, Паша? Тебе нездоровится?

Он испугался.

Я куплю тебе другие шмотки! Я прошу!

Он вдруг перевернулся навзничь, как переворачивался всегда от страха. Да черт бы с твоими сентиментальными прогулками, – затараторил он, – подумаешь...

Его всегда в какой-то момент осеняло: глупость, глупость-то какая! Столько лет коту под хвост из-за какой-то прогулки вдоль старых московских решеток.

Она ненавидела в нем это бабство. Раз бьешь, так бей, что ж все время пульс-то щупать?

Но он щупал. Он не хотел убить. Точнее, он не хотел убить сторяча, сейчас он хотел выторговать себе обманом время подумать, поприкидывать, поцокать зубом.

Если ты не дашь мне спокойно собраться, я уеду так, как есть.

Ну ладно Нора, ладно, будет...

Я ничего не должна тебе объяснять, – вдруг смягчилась она, – но я объясню, чтоб ты не думал, что я брезгую. Я свой долг знаю... Это случилось не знаю как, но это как другой воздух. Иной раз вдохнешь и заболеешь, и никто не знает отчего, ищут потом годами злые молекулы, а тут вдохнула и ничего не болит, и так захотелось поиграть, понаслаждаться...

Так я ж не против, Норочка... А она откуда?

Он заиграл пентюха, простака, рубаху-парня. На такого серчать – грех один...

Приехала откуда-то из Казахстана учиться искусствоведению. Талантливая и веселая. Квартиру снимает, работает в агентстве, организывает праздники.

Она дотрагивалась до тебя? В этом смысле?

Он посерьезнел, забеспокоился.

Да что ты так, Павлуш... Ну раз или два. Из любопытства только. Выпили как-то шампанского, ты ж знаешь, у меня от него голова всегда гудит. У нее осталась пара бутылок от чьего-то праздника. Ну и что-то там как-то. Но она ж не может как ты...

Они обнялись.

Хочешь, я больше никогда с ней не буду говорить?

Да нет, говори, если тебе надо, я ж не зверь... Только без рук, ладно, Нора? Только так на словах.

Они закатились каждый в свою колею, изъезженную до дыр, отполированную за годы частой ездой. Упростились до прямохождения по накатанной прямой: она хорошая и покладистая и он хороший и покладистый. Ну, побранились, с кем не бывает?

Ей не хотелось уезжать, уезжать без сумасшедших погибших кож, она хотела раздобыть себе новых.

Ему не хотелось уезжать в раздраз и скормливать ее такую оскорбленную Риточке.

Легли отдохнуть прямо среди осколков и ключев, окровавленных носовых платков, которыми он вытирал руку.

Накрылись пледом, обнялись как дети.

Он спросил, любит ли она его.

Она ответила, что да, любит.

Он уснул.

Она отвернулась спиной, мгновенно ощутив его руку у себя на талии – привычная поза, уже давно ставшая неотъемлемой частью их сна – и прежде, чем провалиться в свой всегда тяжелый и мучительный сон, она, словно наводя порядок в воспоминаниях, аккуратно взяла каждое из них в руки и расставила по местам.

Вот они впервые заходят в Риточкину светлую квартиру. Белые стены, милые картинки повсюду, чудесные цветы на подоконниках.

Вот Риточка показывает ей семейный альбом с фотографиями, вдруг печалится, вспоминая о какой-то тетушке, так внезапно умершей два года назад.

Вот Нора рассказывает ей почему-то о фламандских натюрмортах, где всякая снедь выходит из берегов, раки тарашатся, окуни плятятся, раковины сверкают, и они хохочут, как девочки, переводя это в наименования, живущие в сегодняшнем дне.

Вот Риточка ставит ей светлокожий голос с темнокожим тембром, и он мурлычет «Санрайз, санрайз», а Риточка говорит, что две Норы должны исполнять песнопения хором. И разучивают слова. Потом танцуют и поют другие слова.

Вот Норочка в коридоре, спешит, ведь она забыла обо всем, ей так легко и вольготно, так хорошо в этих улыбках, музыке и цветах...

Рита целует Нору и она ее, раз, и дв, а и три. Они застывают обнявшись.

От Риты пахнет васильками, солнцем, ее розовые щеки сладковаты на вкус. От Норы – темной сладостью знаменитой Пятой Улицы, табаком, оливковым маслом, на которой замешана ее утренняя маска, лицо, личина.

Голос продолжает петь.

Они вместе, пока плывет пластинка.

Какая приятная глупость, – говорит Нора, отрываясь от риточкиного лица и заливаясь еле различимой на темной коже пунцовой краской.

В отличие от многих других, – подмечает Риточка и заливается смехом. – Ты ведь позволишь мне сегодня вечером?

Конечно, – не отводя своих испуганных и восхищенных глаз от ее золотистых, обещает Нора.

Она мчалась домой сама не своя. Буквально – больше не принадлежащая себе, другая, не такая, как раньше. Она летела, а не плелась, как обычно, под тяжестью невидимого никому груза своего происхождения, мучительных отношений с близкими и далекими. В ней поселился вирус, множащий что-то иное, веселое, не ее, а, напротив, риточкино, звенящее, неударенное.

Может быть, я не в себе, – спрашивала она неизвестно кого, вечно мыслящая и формулирующая ясно и от этого чувствующая несварение мыслей. – Может, у меня расстройство основных процессов?

Она, вечно сдержанная и вялая, поцеловала пухнущую над уроками дочь, говоруна, застывшего изваянием перед футбольным матчем, она даже не завывала во время телефонного разговора с матерью, конечно, опять все перепутавшей и сделавшей не так, что на этот раз не привело к причитаниям длиной в сорок минут.

Все было на месте, она убедилась и теперь могла подремать. Аккуратно, как всегда, сняла с себя его руку, свернулась калачиком.

Но вдруг почувствовала, что нужно проверить звонки, именно после этой инвентаризации они могли проклянуться – и точно: окошечко изобразило послание, и она выскользнула с телефоном в руках в ванную и зашептала, вернув назад, в Москву, один из десяти пропущенных звонков. Ее голос почти пел, она не чувствовала ни обиды, ни беспокойства.

Риточка... Так хорошо, что ты подошла, что ты звонила. Готовили опять фантасмагорический праздник, господи, да есть ли конец этим праздникам? Что ты говоришь, милая? Здесь прекрасно, ну, конечно, прекрасно, милая. Что ты говоришь? Мы вернемся через неделю... Куда уедешь?

Она увидела Пашу в проеме двери и не заметила его. Он присел на край унитаза, закурил. Она говорила с ней о прошедшем времени, только нахваливая его, чувствуя на том конце прямой, соединяющей их в эту минуту, какую-то пустоту, но внутренне списывала это на расстояние, так сказать, на дальность полета. Просто слова чуть-чуть выветривались, считала она.

Паша, сколько километров от Москвы до этого Города?

Ты выкрала у меня купленную вещь, – тихо, до конца не доверившись никакой из интонаций, произнес он. – Воровать плохо.

А знаешь, что ты у меня украл? – спросила она ледяным голосом.

Ладно, пошел паковать назад, – выдохнул он.

А что, – парировала она молниеносно своим очень ровным и тихим в критических ситуациях низким голосом, – что ты можешь сделать такого в Москве, чего не можешь сделать здесь? Бросить меня? Наводнить дом в отместку мне блудницами? Геями? Предаться безрассудному саморазрушению, чтобы заставить меня виниться, страшно страдать, как я страдала всегда? Так все это можно сделать и здесь, начать делать здесь, ведь это только иллюзия, Паша, что, улетев отсюда, мы денемся куда-то от самих себя, и где-то «там» нам будет легче. Действуй!

Он глянул на нее, громко вздохнул, подошел к окну, посмотрел вниз на уютное свечение кафе на углу, на быстро шныряющих по улице аборигенов с поднятыми воротничками, на припарковавшееся у подъезда такси с рекламой какой-то оперетты на боку.

А ведь ты, как всегда, права, – улыбнулся он, – надо действовать сейчас. Мы, как и собирались, уедем через неделю, но только погуляем порознь! Благородный и мудрый план!

Он присвистнул, цокнул зубом, радостно заходил по комнате.

Я действительно всегда права, – вздохнула Нора, закулив мужские сигареты из сигарной крошки. – Я так и знала, что ты так поступишь.

Он ненавидел эти «я так и знала», он чувствовал от этих слов нервный зуд по всему телу, но он был окрылен внезапным чувством освобождения и легкости. Он, казалось, больше никак не зависел от этой всепроникающей и тяжелой, как дым мужских сигарет, женщины. Он словно сбросил ее с себя и полетел, полетел...

Парки Ее Величества простирались у него под ногами. Он летел над ними, размахивая полами плаща и концами гигантского полосатого шарфа, как человекообразный пеликан, у которого розовый зоб полон первосортных свежих икринок.

Он был богат уловом.

Он пил кофе и горячий шоколад из стаканчиков с рифленой защитой для чувствительных к ожогам человеческим пальчиков, он звонил по телефону – сначала дочери Анюте, которой послал горячий, как этот шоколад, папин привет; потом набрал художника Петра Кремера,



который по-прежнему писал пейзажи то в Испании, то в Италии; потом Майклу – надежному до тупости партнеру в общих коммерческих делах.

Анюта заверила, что папу очень любит.

Петр Кремер сказал, что катается на лыжах во Франции и подъедет через пару дней повидаться со старым другом, а заодно – может быть – кто знает – наконец-то намалевать его портрет.

Друг Майкл сказал примерно о том же – праздники, контора закрыта, подъедет кое-что обсудить-решить и прочее.

Он был доволен такой перспективой. Хорошая компания, веселые деньки.

Соорудив себе ближайший week, он принялся за непосредственно лежащий под его ногами, как и парк Ее Величества, день. Он подобрал его, разглядел: миленький, кругленький, ясненький, несмотря на собирающийся, по обыкновению, к вечеру дождь и порывистый ветер, и зябкость, забирающуюся за пазуху.

Он сел в ресторанчике на узкой улице, заказал равиоли, за соседним столиком студентка в брекетах уверено прихлебывала из огромного стакана ледяную кока-колу. Он заговорил с ней, как подросток, а она с ним, он съел равиоли, она закончила колу, они сели вместе и болтали, сначала о России – он очаровал ее талантом рассказчика и юмором, потом про университеты в Европе, про женихов и надписи на скамейках в парках, они пошли по улице, они посмотрели фильм о молодом поддонке, соблазнившем английскую аристократку, они обсудили фильм, и она ушла на вечерние лекции. Он был счастлив. Они скинул двадцать лет. Он захотел молодой кожи, глупых рассказов, прошлого как чувства, которое можно воскресить в себе умелыми манипуляциями.

Он дошел уже по темным улицам до ласково мигавшего днем, а теперь совсем откровенно подмигивающего кафе на углу, где белый, пастозный, слюнявый парень с водянистыми, как обезжиренное молоко, глазами говорил ему об «этой суке», которая «все у него забрала», а другой, в вязаной шапочке, странно подпрыгивающий на пружинящей подметке экс-замшевых кед, толковал примерно о том же, но с вариацией – он вытянул ее из дерьма, а она его в него втолкнула.

Разговоры зрелых мужчин всегда об этом, – подытожил Павел, запивая каждый поворот мысли рассказчиков доброй пинтой пива.

Он напился, сначала средне, потом очень, потом страшно.

Он плакался им по очереди, откровенничал, материл российских казнокрадов, людей – сплошь тупиц, друзей – сплошь попрошайек – и, наконец, ее, вымотавшую душу, связавшую своим страданием, бесчувственную, вымороченную, пренебрегающую и, главное, неблагодарную.

Его привели домой. Она дала за это денег. Раздела, доволокла до кровати, поставила рядом на тумбочке стакан с водой. Все это молча, впрочем, как обычно, молча.

Он что-то мычал про чайку, про бессмысленность повторения пройденного, но она никак не реагировала, спокойно, холодно, профессионально исполнила выверенные движения с пуговицами, молниями, шнурами, как ассистент патологоанатома, как еврейская жена с пьяным русским мужем.

Она очень намучилась в этот день. Темные мысли под смуглой кожей. Она звонила Риточке и то не могла дозвониться, то та не могла разговаривать, потом она слышала звон ее

голоса, переливы ее смеха, заверения, что та скучает, изящные зарисовки ситуаций – пейзажи, портреты, что пронесли мимо нее или сквозь нее за этот день.

Она, как всегда, долго лежала под пледом на диване в гостиной, куда и пошла сейчас спать, очень много курила. Звонила маме, опять почти плакала от беспомощности и жалости к родителям. Мельком, вскользь говорила с дочерью, как всегда, задав ей слишком много неудобных вопросов. Но главное, конечно – чтение: она обожала книги, она упивалась ими, в этот день она проглотила с потрохами прекрасное повествование о некоем пианисте, приехавшем на концерт, который он не помнил, как назначил, и с ним стало приключаться разное необъяснимое, яркое, не-его. К вечеру она хрустнула корешком, проглотила окончательно, облизнулась и заурчала бы надолго, если бы не вспомнила о так заурядно загулявшем муже и дурацкой жизни последних месяцев, которую совсем не понимала, за что очень винилась и перед собой, и перед «всеми близкими».

Не понимала и только поэтому была влюблена, ведь обычно понимала все и досконально. Она не хотела понимать, а хотела, как эти дуры вокруг, просто чувствовать, так сказать – пребывать. То, чего не чувствовала обычно: свет и тень, легкость и тяжесть, облечение и боль. У нее появилась возможность из каждой приведенной пары выбирать первое, а не второе, что само по себе было уже признаком мутации: разве не ее бабушку сожгли в Бабьем Яре, разве не ее деда расстреляли, разве не ее отцу не давали заслуженных должностей и почета, отчего он так рано растерял силу? Разве не ее дразнили во дворе жидовкой, оттирали от игр, несправедливо засуживали? Какая легкость и свечение могут рождаться в душе среди эти грубиянов, хамов, недалеких умом, неопрятных баб и мужиков, которых возможно после всего содеянного только презирать и, презирая, использовать? Обирать, обманывать, насыпая им за пазуху для утешения бдительности обыкновенной трехрублевой лести или пятикопеечного якобы уважения и интереса к их персонам.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.